

---

---

# ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

Г. П. ФЕДОТОВ

## ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ\*

**О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья: Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, П. А. Сорокин, Г. П. Федотов, Г. В. Флоровский. М., 1990**

Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, это слово, т. е. понятие, обозначаемое им, существует лишь в нашем языке. Разумеется, если не говорить об *intelligentia* философов, которая для Данте, например, значила приблизительно то же, что «бесплотных умов естество». В наши дни европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но неудачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем.

Правильно определить вещь – значит почти разгадать ее природу. В этом схоластики были правы. Трудность – и немалая – в том, чтобы найти правильное определение. В нашем случае мы имеем дело с понятием историческим, т. е. с таким, которое имеет долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно создано не потребностью научной классификации, а страстными – хотя идейными – велениями жизни. В этой жизни полны определенного и трагического смысла нелепые на Западе антитезы: «интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы должны исходить

---

\* Печатается с сокращениями.

из бесспорного: существует (существовала) группа, именуемая себя русской интеллигенцией и признаваемая за таковую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывавшейся над своеобразием своего положения в мире: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем «истории русской литературы», «русской общественной мысли», «русского самосознания» много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции, в одном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция автентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буддийской церкви, например, если будем игнорировать церковную литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется слепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое в чем он прислушивается и к голосу противников, взор которых обострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не то, самое главное, что составляет природу вещи, – ее *essentia*.

Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы сразу же убеждаемся, что он не способен подарить нам готовое, «каноническое» определение. Каждое поколение интеллигенции определяло себя по-своему, отрекаясь от своих предков и начиная – на десять лет – новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила себе она сама, в вечной жажде самоожжения.

Прежде всего, ясно, что интеллигенция – категория не профессиональная. Это не «люди умственного труда» (*intellectuels*). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже профессоров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интеллигенции ощущает себя

почти, как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписанный кодекс – чести, нравственности, свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как интеллигенция связана с классом работников умственного труда.

Что же, быть может, интеллигенция – избранный цвет этих работников, людей мысли по преимуществу? И история русской интеллигенции есть история русской мысли, без различия направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, Победоносцева, Козлова, Федорова, Каткова, – беру наудачу несколько имен в разных областях мысли.

Идея включить Феофана Затворника в историю русской интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на народную жизнь было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из кумиров русской интеллигенции.

Попробуем сузиться. Может быть, еп. Феофан, Катков и Победоносцев не принадлежат к интеллигенции, как писатели «реакционные», а интеллигенцию следует определять, как идейный штаб русской революции? Враги, по крайней мере, единодушно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и считают возможным ее уничтожение – не мысли же русской вообще, в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была готова смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря уже о том, что очень значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут быть причислены к революционерам славянофилы? И еще: заметьте, с какой нежностью историки русской интеллигенции говорят о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи «Бородинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все прощают – и не только, как временное падение, искупленное сторицею. Нет, при всем своем политическом пафосе русская интеллигенция проявляла иногда

и бескорыстие, умела ценить героическую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Умела ценить идеализм как таковой. Да, но не всякий. И не всякого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофилов, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печерина, Вл. Соловьева, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева – как богословов – уж, конечно, не по пристрастию к католицизму.

Есть в истории русской интеллигенции основное русло – от Белинского, через народников к революционерам наших дней. Думаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное место. Никто, в самом деле, столько не философствовал о призвании интеллигенции, как именно народники. В этот основной поток втекают разные ручьи, ничего общего с народничеством не имеющие, которые говорят о том, что интеллигенция могла бы идти и под другими знаменами, не переставая быть сама собой. Вдумаемся, что объединяет все эти имена: Чаадаева, Белинского, Герцена, Писарева, Короленко, – и мы получим ключ к определению русской интеллигенции.

У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику, и общественное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаемом к жизни, как ее норма и канон. Эта «идея» не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью-землей. Афина против Геи – в этом мифе (отрывок гигантомании) смысл русской трагедии, т. е. трагедии русской интеллигенции.

Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения.

Они не вымышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, подслушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (*Страх*). Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость (знаменитое определение Михайловского). Последняя является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинной философской *ratio*. К чистому познанию он предъявляет поистине минимальные требования. Чаще всего он берет готовую систему «истин» и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость – этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии. Догмат определяет характер поведения (святость), но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, освящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Такая система обыкновенно неспособна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системой догм, и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а буквальная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся мучениками.

«Беспочвенность» вытекает уже из нашего понимания идейности, отмежевывая ее от других, органических форм идеализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лишь более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму, уже не совместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отрыв становится срывом, который грозит каждому поколению русской интеллигенции, – не одним шестидесятникам. Срыв отчаяния, безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когда идея, висящая в воздухе, уже не поддерживает

падающего, уже не питает, не греет и становится, видимо, для всех призраком.

Только беспочвенность, как идеал (отрицательный), объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по-своему тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский и множество других. Все они почвенники – слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонтьеву войти в Пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой – демоном, а не святым, – чем этим гуманнейшим *русским* людям: здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Вл. Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно «беспочвенной почве»: вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности.

Так, примеряя одно за другим памятные имена русской культуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интеллигенции подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и раскрывая друг друга, они дают необходимое и достаточное определение: русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.

История русской интеллигенции есть весьма драматическая история и, как истинная драма, развивается в пяти

действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог – и даже два.

Византинизация русской жизни, конечно, не закончилась в Киеве. Массы, быть может, лишь к XVII в. органически в своем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и княжеские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой» Царегородского дворца. Так отголоски церемониала Константина Багрянородного докатились до черных курных изб Заочья и Заволжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, поражают нас на русском Севере строгостью быта, аристократической утонченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» обхождения.

И все же именно в Киеве заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих пор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того, в нем всегда видели наше великое национальное преимущество, залог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду славянскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше коренное отличие, в самом исходном пункте, от латинского Запада. На первый взгляд, как будто славянский язык церкви, облегчая задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчужденной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но какой ценой? Ценой *отрыва от классической традиции*. Великолепный Киев XI—XII вв., восхищавший иноземцев своим блеском и нас изумляющий останками былой красоты, – Киев создавался на византийской почве. Это в конце концов греческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной культуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, философская, литературная традиции Греции отсутствуют. Переводы, наводнившие древнерусскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного: проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древней церкви осталась почти чуждой Ру-

си. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (VI, VIII), монах читал Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читал римских историков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключом – латынью, – чтобы им отворились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура – задолго до Возрождения.

И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить, как дар («а прочее приложится»), научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Зато эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII в. гремели битвы схоластиков, рождался университет, в «Золотом Киеве», сиявшем мозаиками своих храмов, – ничего, кроме подвига печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, *такой* летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.

Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому Евангелию. И если правда, что русский язык – гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это ведь тоже потому, что на нем, и только на нем, говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь, и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры) находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).

Все это так. Но этот великолепный язык до XVIII в. не был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был



рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский, язык, несмотря на обилие иностранных терминов, лишен некоторых основных слов, без которых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостями» и «воззрениями» – мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого. А за ограниченность *древней Руси* – *глубоким* расколом петербургской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции.

Монах и книжник древней Руси был очень близок к народу, но, пожалуй, чересчур близок. Между ними не образовалось того напряжения, которое дается расстоянием и которое одно только способно вызывать движение культуры. Снисхождению учителя должна отвечать энергия восхождения – ученика. Идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы. Это как движение жидкости по трубам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда достигается непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по слову Данте:

Tutti tirati son e tutti tiranu – «все влекутся и все влекут».

Русская интеллигенция конца XIX в. столь же мало понимала это, как книжники и просветители древней Руси. И как в начале русской письменности, так и в наши дни русская научная мысль питается преимущественно переводами, упрощенными компиляциями, популярной брошюрой. Тысячелетний умственный *сон* не прошел даром. Отрекшись от классической традиции, мы не могли выработать своей, и на исходе веков – в крайней нужде и по старой лениности – должны были хватать, красть (*compilare*), где и что попало, обкрадывать уже нищающую Европу, отрекаясь от всего заветного, в отчаянии перед собственной бедностью. Не хотели читать по-гречески, – выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Липпертов. От киевских предков, которые, если верить М. Д. Приселкову, все воевали с греческим засильем, мы сохранили ненависть к древним языкам и, лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его «вершками», засыхающей ботвой.

Москва для нас имя, покрывшее всю северную Русь. В нее, как в озеро, во внутреннее море (вроде Каспия), вливались все ручьи, пробившиеся в северных мшистых лесах. Теперь мы знаем, что главное творческое дело было совершено Новгородом. Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое – уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское – дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом, который отныне неизгладим в хоре народов-ангелов. Мы знаем с недавних пор, где нужно слушать этот голос. В церковном зодчестве, деревянном и каменном, в ослепительной новгородской иконе, в особом тоне святости северных подвижников. Без ложной гордости мы говорим теперь о гениальности древнего русского искусства и, не колеблясь, отдаем ему предпочтение перед искусством западного средневековья и Возрождения. Не столь явен для всех голос святости. И это отчасти потому, что расслышать его отчетливо удастся лишь в XIX в. Святые, современные нам или почти современные нам, конечно, восходят в самом типе своей праведности к древнерусской традиции духовной жизни, как архангельские деревянные церкви, строенные десятилетия тому назад, уходят в новгородскую древность. Иначе и быть не может. Иначе – откуда? Откуда цветение православной культуры в уже чужеродной, враждебной ей среде, если не на старой почве, на крепких корнях?

Но самая постановка этого вопроса возможна лишь благодаря страшной немоте древней Руси. Она так скупа на слова и так косноязычна. Даже образы своих святых она не умеет выразить в их неповторимом своеобразии, в подлинном, русском их лике, и заглушает дивный колос плевелами переводного византийского красноречия, пустого и многословного. Не в житиях находим ключ к ним, а в живой, современной, часто народной (даже апокрифической) традиции.

Культура северной Руси – в зените к началу XVI в. Дальше уже начинается склон. XVI век – это декаданс, хотя

и утонченный, ее живописного мастерства; XVII – уже чрезвычайное огрубение. Города, цветущие в XV–XVI вв., хиреют в XVII, вместе с богатством и предприимчивостью былых Садко и Афанасиев Никитиных. Закрепощается народ к земле, все население – к службе и тяглу. Гибнут остатки мирского самоуправления. Грубеет и тяжелеет быт, оплотневает, словно, действительно, пропитавшись татарской, степной стихией. Само православие начинает ощущаться как стояние на уставе, как быт, как «обрядовое исповедничество».

Конечно, рисовать два столетия Москвы как сплошной упадок – несправедливо. Нельзя закрывать глаза на подвиг создания великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, которые живы в узах сыромятных ремней. Но страшно, что эти силы громче всего говорят о себе – в бунте: Ермак, смута, Разин, раскол! Как не поразиться, что единственный великий писатель московской Руси – мятежный Аввакум! Москва полнокровна, кряжиста, если говорить об ее этнических силах. Но уже развивается старческий склероз в ее социальном теле. Такая юная годами, она, видимо, дряхлеет в XVII в., и дряхлость ее сказывается во все растущем общественном недомогании, в потребности общих перемен и вместе с тем неспособности органически осуществить их. Государственное бытие становится невозможным в примитивно варварских формах, но силы инерции огромны, быт свят, предание и православие одно. Со времени Грозного оборона государства во все растущей мере зависит от иностранцев. Немецкая слобода, выросшая в Москве, стоит перед ней живым соблазном. Как разрешить эту повелительно поставленную судьбой задачу: усвоить немецкие хитрости, художества, науку, не отрекаясь от своих святынь? Возможна ли простая прививка немецкой техники к православному быту? Есть люди, которые еще в наши дни отвечают на этот вопрос утвердительно. Но техника не падает с неба. Она вырастает, как побочный плод, на древе разума: а разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно

здесь, в «словесной», разумной ее части, должно быть заполнено чем-то. В десятилетие и даже в столетие не выращивается национальный разум. Значит, разум тоже будет импортироваться вместе с немецкими пушками и глобусами. Иначе быть не может. Но это страшно. Это означает глубокую деформацию народной души, вроде пересадки чужого мозга, если бы эта операция была возможна. Жестокое пробуждение от векового сна. Тяжела расплата – люди нашего поколения ощущают это, как никогда. *Но другого пути нет.* Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в истории России и русской интеллигенции.

Интеллигенция? Знаете ли, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе были отправлены за границу – в Германию, во Францию, в Англию – восемнадцать молодых людей. Ни один из них не вернулся. Кто сбежал неведомо куда – спился, должно быть, кто вошел в чужую жизнь. Нам известна карьера одного из них – Никанора Олферьева Григорьева, который в Англии стал священником реформированной церкви и даже пострадал в 1643 г. от пуритан за свою стойкость в новой вере. Не будем торопиться осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую тюрьму. Но нас все же поражает эта легкость национального обезличения: раствориться в чужеземной стихии, без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее! Этот факт сам по себе обличает породившую его культуру и грозно предупреждает о будущем.

По-настоящему, как широкое общественное течение, интеллигенция рождается с Петром. Конечно, характеристика «беспочвенности» неприменима к титану, поднявшему Россию на своих плечах; да и «идейность» не выражает пафоса его дела – глубоко практического, государственного, коренившегося в исторической почве и одновременно в потребностях исторического дня. Но интеллигенция – детище Петрово, законно взявшее его наследие. Петр оставил

после себя три линии преемников: проходимцев, выплеснутых революцией и на целые десятилетия заполнивших авансцену русской жизни, государственных людей – строителей империи, и просветителей-западников, от Ломоносова до Пушкина поклонявшихся ему, как полубогу. XVIII век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Беспочвенность рождается из пересечения двух несовместимых культурных миров, идейность – из повелительной необходимости просвещения, ассимиляции готовых, чужим трудом созданных благ – ради спасения, сохранения жизни своей страны. Понятно, почему ничего подобного русской интеллигенции не могло явиться на Западе – и ни в одной из стран органической культуры. Ее условие – отрыв. Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наши дни в странах пробуждающегося Востока: в Индии, Турции, Китае. Однако, насколько мы можем судить, там нет ничего и отдаленно напоминающего по остроте наше собственное отступничество: нет презрения к своему быту, нет национального самоуничужения – «мизопатрии». И это потому, что древние страны Востока были не только родиной великих религий и художественных культур, но и глубокой мысли. Они не «бессловесны», как древняя Русь. Им есть что противопоставить европейскому разуму, и они сами готовы начать его завоевание. Пожалуй, лишь Турция, как более бедная мыслью (если не смешивать ее с арабским миром Ислама), готова идти в отрицании своего быта и веры по стопам русских вольтерьянцев. И здесь причина одна и та же.

Сейчас мы с ужасом и отвращением думаем о том сплошном кошунстве и надругательстве, каким преломилась в жизни петровская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своего главы и независимости. Епископские кафедры раздаются протестантствующим царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолизам. К надругательству над церковью и бытом прибавьте надругательство над русским языком, который на полстолетия превращается в безобраз-

ный жаргон. Опозорена святая Москва, ее церкви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка обстраивается немецкими палатами и церквями никому неизвестных, календарных угодников, политическими аллегориями новой Империи.

Петру удалось на века расколоть Россию: на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества) – та пропасть, которую пытается завалить своими трупами интеллигенция XIX в. Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой – национальной. Школа и книга делаются орудием обезличения, опустошения народной души. Я здесь не касаюсь социальной опасности раскола: над крестьянством, по безграмотности своей оставшимся верным христианству и национальной культуре, стоит класс господ, получивших над ним право жизни и смерти, презиравших его веру, его быт, одежду и язык и, в свою очередь, презираемых им. Результат получился приблизительно тот же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением поддающихся неизбежному обрусению.

Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра? Империю, созданную им: этот огромный дом народов, на четыре моря, на шестую часть земного шара, где в суровой школе зрели для творческого пробуждения многомиллионные пласты европейско-азиатской целины? Где русский гений впервые вышел на пространства всемирной истории, и с какой силой и правом утвердил свое место в мире! Петербург с кольцом своих резиденций – единственный в мире город трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию, и тяжесть материков плывет, как призрачная флотилия, в туманах с легкостью окры-

ленной мысли. Отречемся ли мы от развенчанного Петербурга перед вновь торжествующей Москвой?

Людам, которые готовы проклясть империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово, только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой и Достоевский немислимы без школы европейского гуманизма, как немислим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия.

Как примирить это с нашей схемой сосуществования двух культур? Для всех ясно, что эта схема откровенно «схематична». Действительность много сложнее, и даже в XVIII в. русское барство, особенно в нижних слоях его, много народнее, чем выглядит на старинных портретах и в биографиях вельмож. Не все получали свой последний лоск в Версале. В саратовских и пензенских деревушках – я говорю о дворянстве – XVII век затянулся чуть не до дней Екатерины. Обе культуры живут в состоянии интрамолекулярного взаимодействия. Начавшись революционным отрывом от Руси, двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения. Переменяясь реакциями, но все с большей ясностью и чистотой звучит русская тема в новой культуре, получая водительство к концу XIX в. И это параллельно с неуклонным распадом социально-бытовых устоев древнерусской жизни и выветриванием православно-народного сознания. Органическое единство не достигнуто до конца, что предопределяет культурную разрушительность нашей революции. Ленин, в самом деле через века откликается Петру, открывая или формулируя отрыв от русской культуры впервые к культуре приобщающихся масс.

Вглядимся в интеллигенцию первого столетия. Для нас она воплощается в сонме теперь уже безымянных публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, которые, сплотившись вокруг трона, ведут священную борьбу с «тьмой» народной жизни. Они перекликаются с Вольтерами и Дидеротами, как их венценосная повелительница, или ловят мистические голоса с Запада, прекраснодушествуют, ужасаются рабству, которое их кормит, тирании, которой не видят в позолоченном абсолютизме Екатерины. Над этой толпой возвышаются головы истинных подвижников просвещения, писателей, уже рвущихся к народности, Фонвизиных, Новиковых, масонов. (Ломоносов и Державин вообще перерастают «интеллигенцию».) Но что единит их всех, так это культ империи: неподдельный восторг перед самодержавием. Нельзя забыть в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие делала общее дело с монархией. Выражаясь упрощенно, она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825–1881), и, наконец, с народом против царя (1905–1917). В пышных дворцах Екатерины, в Царском Селе поэты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследников Петровых еще не разошлись. Лавр венчает меч, Державин поет Потемкина, и все на коленях перед Фелицей. Никакой фимиама не претит, как не кажется льстивым в наши дни в России дифирамба пролетарской музе. Гармония между властью и культурой, как во дни Августа и Короля-Солнца, ничем не нарушается. Интеллигенция, оторванная от народа и его прошлого, не порвала связей со своим классом и с царем (царицей). Здесь ее почва, суррогат почвенности; только через самодержавие она связывается с историческим потоком русской жизни.

Декабристы были людьми XVIII в. по всем своим политическим идеям, по своему социальному оптимизму, как и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция. Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не зачинатели нового. Вдумываясь в своеобразие их портретов в галерее



русской революции, видишь, до чего они, по сравнению с будущим, еще почвенны. Как интеллигенция XVIII в., они тесно связаны со своим классом и с государством. Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что прежде всего офицеры русской армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом 12-го года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей. В их лице сливаются две линии птенцов гнезда Петрова: воинов и просветителей. На них в последний раз в истории почил дух Петра.

Неудача их движения невольно преломляется в наших глазах его утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская. Не нам решать этот вопрос. Против обычного – и в революционных кругах – понимания говорит весь опыт XVIII в.

Крушение западных идеалов заставляет монархию Николая I ощупью искать исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит формулу реакционного народничества: «православие, самодержавие и народность». Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего народен. Православие в виде отмеренного компромисса между католичеством и протестантством в полном неведении мистической традиции восточного христианства; самодержавие, понятное, как европейский абсолютизм, народность, как этнография, как московские вариации в холодном классицизме Тена, переживание Хераскова в Кукольнике: не вполне обрусевший немец на русской государственной службе, имя которому легион, именно так только и мог понимать Россию и ее национальную традицию.

Однако нельзя забывать, что именно в николаевские годы в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его социального крушения, складывается, до известной степени, национальный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времени Отечественной войны, и дворян-

ство ближе подходит к быту, языку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно национальной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксакова, Лескова, Мельникова, Толстого... О, конечно, эта почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальная традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт, в котором еще живет народ, делается предметом пристального и любовного изучения.

И вот среди этой общей тяги к почвенности, к возвращению на родину зарождается русская интеллигенция новой формации, предельно беспочвенная, отрешенная от действительности и зажигающая в катакомбах «кружков» свою неугасимую лампаду. Она просто не заметила св. Серафима, она не принимает православия постных шей и «квасного» патриотизма. Ее историческая память, как и память царя, подавлена кровью мучеников: Радищевых, Рылеевых. Характерен самый уход из бюрократического Петербурга в опальную Москву, где в барских особняках Поварской и Арбата, вслед за фрондирующими вельможами XVIII в., появляются новые добровольные изгнанники: юные, даровитые, полные духовного горения, – но почти все обескровленные. С пламенностью религиозной веры, какой мы не видим у просветителей старого времени и в которой улавливаются отражения религиозной реакции Запада, юные философы утверждают на Шеллинге, на Гегеле, как на камне вселенской церкви; диалектически выводят из «идеи» весь мир данного и должного, «рефлектируют», созерцают, разлагают, – и все для того, чтобы в конечном счете связать себя новым моральным постулатом: найти внутренний подвиг, дать обеты, навсегда преодолевающие мир пошлой действительности. С этим миром интеллигенцию 30 и 40-х годов связывает еще одна непорванная нить: культура класса, дворянский быт, в котором она живет, еще не рефлектируя над ним, ибо он сливается для нее, как и все конкретное, в голом понятии действительности. Идейность этих десятилетий не могла уже быть пре-

взойдена: это эссенция абстрактной веры. Но на пути беспочвенности предстоял еще один тягчайший подвиг.

Каковы смысл и ценность этого идейного отшельничества? Когда власть отрекается от своей культурной миссии, интеллигенция возжигает очаг чистой мысли. Именно в эти годы она осваивает самые глубокие и сложные явления европейской культуры; место поверхностного «просвещения» прошлого века занимает немецкая философия и гуманистическая наука. Этим заканчивается европеизация России, начавшаяся с париков и бритых бород и завоевывающая теперь последние твердыни разума. Здесь, в 30 и 40-е годы, рождается русская наука – прежде всего историческая и филологическая, – которая к концу века импонирует и Западу. Только здесь дано культурное завершение дела Петра, и вместе с тем достигнут предел законной европеизации. Дальнейшее западничество русской интеллигентской мысли будет бесплодным и косным тверждением задов.

Вполне мыслимо было бы выводить родословную семидесятников непосредственно от людей 40-х годов: представить Белинского и Герцена спускающимися в народ и концентрирующими в социализме свою политическую веру. Но русская жизнь смеется над эволюцией и обрубает ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить. Таким издевательством истории было вторжение шестидесятников.

Все, что имели сказать поповичи, было, в сущности, уже сказано дворянской интеллигенцией. Поколение отрешенных гегельянцев сделалось родоначальником русского либерализма и даже западнического консерватизма (Чичерин, Катков), не самые яркие его представители кончали свой век с евангелием материализма и социализма. Оно послушно повторило процесс разложения левого гегельянства в антропологии Фейербаха и католического романтизма в сенсуализме утопистов.

Но дворянство социально разлагается, – оно не в силах пережить «эмансипации» и теряет культурную гегемонию. Разночинцы вытесняют его с командующих высот, но при-

нимают часть его духовного наследства. По самой природе своей, они должны были поддержать интеллигентскую, а не почвенную мысль, традицию западничества, а не славянофильства. Сами они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского «прогресса». Идеи западников они сообщили грубость мужицкого слова, донельзя упростили все, и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 г. В рабоче-крестьянской молодежи наших дней мы вправе видеть тот же психологический тип, что в разночинцах 60-х годов, с соответствующей поправкой на уровень. Недаром старые большевики воспитывались на Писареве, который к началу XX в. переживает в революционных кругах настоящее воскресение.

Старая традиция и старый уровень русской культуры не гибнут с этим нашествием варваров. Пережив тяжелые для них 60-е годы, они продолжают расти и крепнуть преимущественно в почвенных, «реакционных» направлениях русской мысли. Вместе с тем линии русской интеллигенции и русской культуры все более расходятся. К XX в. это уже две породы людей, которые перестают понимать друг друга. Но их духовная значительность и культурный уровень обратно пропорциональны исторической действительности. Нужно ли повторять, что здесь мы занимаемся только «интеллигенцией»?

Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их отрицанием отходит на задний план идейность и на сцену на короткий момент выступает чистый «нигилист». То, что литературно его представляет дворянин Писарев – безупречный джентльмен, – может быть понятно только в свете семидесятского народничества. Интели-

гентные дворяне отныне увлекаются потоком разночинцев, а не обратно, как было хотя бы с Белинским в 40-х годах.

По-видимому, нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком, оголенном мышлении, чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души. По крайней мере, русские художники всех направлений, от Тургенева до Лескова, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигилистом, Толстой прошел мимо него только потому, что не нашел в своей палитре подходящих красок: он не умел смеяться и не любил малавать черта.

Люди 40-х годов и народники 70-х представляют крайние вершины русского интеллигентского сознания. Дальше начинается распад этого социологического типа, идущий по двум линиям: понижения идейности, возрастания почвенности. Русская интеллигенция агонизирует долго и бурно: она истекает кровью и настоящей, не умозрительной уже, народной революции. Интеллигенция принадлежит к тем социальным образованиям, для которых успех губителен; они до конца и без остатка растворяются в совершенном деле. Дело интеллигенции – европеизация России, заостренная, со второй половины XIX века, в революции. Победы революции наносят поэтому интеллигенции тяжкие раны. Вот даты их: 1 марта 1881 г., 17 октября 1905 г., 25 октября 1917 г. Из них уже первая смертельна. На 1 марта, если не по времени, то по существу, русская мысль (не интеллигентская, а русская) ответила явлением Толстого и Достоевского. По-разному, но с одинаковой силой они отрицают западнический идеал интеллигенции и делают возможным строительство русской культуры на древней, допетровской почве. Интеллигенция была смущена, но не смогла ответить отлучением. Она приняла в себя сильно действующий, хотя и медленный, яд, который через четверть века начал, видимо, разлагать ее сознание. Но коли-

чественно, в культурной работе России интеллигенция преобладает – по крайней мере, до первой русской революции.

Она не может умереть, потому что дело, которое она себе поставила, сначала, как апокалиптический идеал, чем дальше, тем больше становится русским государственным делом. Дворянская Россия с 1861 г. безостановочно разлагается. Самодержавие не в силах оторваться от дворянской почвы и гибнет вместе с ней. Замороженная на 20 лет Победоносцевым Россия явно гниет под снегом (Чехов). Интеллигенция права в своем ощущении гнилости 80–90-х годов, хотя духовно, в глубине национального сознания, эти годы, как часто годы реакции, были, быть может, самыми плодоносными в новой русской истории. Но общественное тело явно требует хирурга. Революция, убитая Достоевским в идее, оправдывается уже политической необходимостью. Отсюда воскресение революционного идеала и движения в конце 90-х годов.

Жизнь интеллигенции этих десятилетий, расплюсненной между молотом монархии и наковальней народа, ужасна. Она смыкает свои бездейственные ряды в подобие церкви, построенной на крови мучеников. Целое поколение живет в тени, отбрасываемой Шлиссельбургской крепостью. Оно подавлено идеей мученической смерти: не борьбы, не продвига, не победы, а именно смерти.

О, зачем не лежит твой истерзанный труп  
Рядом с нами, погибшими братьями? –

терзает себя Якубович, поэт-каторжник, идейный наследник «Народной воли». В сущности, настоящим гимном русской революции была не бездарная лавровская «Марсельеза», а похоронный марш:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,  
В любви беззаветной к народу...

И даже в новом революционном приливе 1900-х годов демонстрации студенческой молодежи чаще всего связаны с похоронами: Шелгунова, Михайловского, Бунакова, кн. С. Н. Трубецкого... И как настоящие политические де-

монстрации, первомайские и другие, они всегда безоружны, их смысл всегда в избиении – нагайками, шашками – беззащитных, несопротивляющихся людей. Это всегда жертва, и не бескровная; единственная, но глубокая политическая идея ее: из крови мучеников восстанут новые борцы.

Новых идей до появления на сцену марксизма не поступает; их боятся, как ереси. Весь смысл этой секты в хранении чистоты и «заветов». Кодекс общественной этики вырабатывает мелочную систему запретительных норм, необходимых, чтобы сохранить дистанцию перед врагом, с которым нет сил бороться. Враг этот откровенно – русское государство и его власть. Умственный консерватизм навсегда остается главным признаком идейно-чистой, пассивно-стойкой русской интеллигенции в ее основном, либерально-народническом русле.

Для России и эта формация людей не бесплодна. Вытесненные из политической борьбы, они уходят в будничную культурную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссежных дорог, школ, больниц. Вся земская Россия создана ими. Ими главным образом держится общественная организация, запускаемая обленившейся, упадочной бюрократией. В гуще жизненной работы они понемногу выигрывают в почвенности, теряя в «идейности». Однако остаются до конца, до войны 1914 г., в лице самых патриархальных и почтенных своих старцев, безбожниками и анархистами. Они не подчеркивают этого догмами, но он является главным членом их «Верую». Душа этой религии, впрочем, не в догмате: она в жертве, которая составляет неотъемлемую основу народнического мировоззрения.

Революционная лава, остывая в земском, трудовом народничестве, принимает облик демократического либерализма. Социализм если не линяет до утопии, то отодвигается в туманное будущее. Семидесятники ненавидели либерализм, который, ответвившись от идейного ствола 40-х годов и окрыленный, было, коротким десятилетием ре-

форм, питается всего больше модной англomанией. Остывшие народники конца века могли уже подать руку конституционалистам английской школы. Такова формула будущей партии – «Народной Свободы». Но либерализм не создает ни одной новой идеи; он несет вместе с народничеством вахту у знамени «хранимых заветов».

Появление марксизма в 90-х годах было настоящей бурей в стоячих водах. Оно имело освежающее, озонирующее значение. В марксизме недаром получают крещение все новые направления – даже консервативные – русской политической мысли. Это тоже импорт, разумеется, в большей мере, чем русское народничество, имеющее старую русскую традицию. Но в научных основах (все-таки научных!) русского марксизма были моменты здорового реализма, помогшие связать интеллигентскую мысль с реальными силами страны.

Россия, под победоносцевскими льдами социально переродилась. Новые классы – рабочие, промышленники, – приобщаясь к «просвещению», начинают реальную, а не утопическую классовую борьбу. Плеханов оказался пророком: рабочий был той точкой опоры, куда должен быть приложен революционный рычаг. Пролетарий, оторванный от народной (т. е. крестьянской) почвы, сам сделался почвой, на которую мог осесть революционный скиталец. Русская социал-демократия, несомненно, самое почвенное из русских революционных движений. В нем, практически, профессионалы революции, путем радикального упрощения своего интеллигентского сознания, сливались с верхушкой «сознательных пролетариев», образуя не новую интеллигенцию, а кадры революционных деятелей. В этом свете понятен особый пафос классовой идеи в России, и особая ненависть к интеллигенции в марксистском лагере. Для него «классовый» означало «почвенный», «интеллигенция» – мир старой, отрешенной кружковщины XIX в.

Конечно, и в марксизме, особенно русском, живет, хотя и темная, религиозная идея: по своей структуре революционный (не реформистский) марксизм является иудео-



христианской апокалиптической сектой. Отсюда он сделался в России не только рассадником политических буржуазных идеологий (Струве), но и богословских течений. В отличие от народничества, которое, по своей отрешенности, могло развиваться только в сектантство, марксизм в социально-классовом сознании своем и догматизме системы таил потенции православия: они были вскрыты вышедшими из него вождями новой богословской школы.

Молодое народничество социалистов-революционеров идейно ничего не приносит в сокровищницу заветов, хотя оказывается более чутким к веяниям культуры. Оно воскрешает в политической борьбе опыт «Народной воли», более грозный и действенный на фоне растущего движения масс. Террор дал нескольких героев с чертами христианского мученичества, но морально разложился еще скорее народовольства. Революция была уже делом, а не жертвоприношением. И потому авантюризм и провокация необычайно быстро убили жертвенную природу террора: Азеф и Савинков – Каляева и Балмашева. Но народничество уже нашло путь к деревне, возделанной за несколько десятилетий земским плугом; к 1905 г. «смычка» интеллигенции с народом была уже совершившимся фактом.

Нельзя обойти молчанием еще одной силы, которая в эту эпоху вливалась в русскую интеллигенцию, усиливая ее денационализированную природу и энергию революционного напора. Эта сила – еврейство. Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости силой европейского «просвещения», оказавшись на грани иудаистической и христианской культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марк-

сизму. При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток.

К 1905 г. все угнетенные народности царской России шлют в революцию свою молодежь, сообщая ей «имперский» характер.

Революция 1905 г. была уже народным, хотя и не очень глубоким, взрывом. И в удаче и в неудаче своей она оказалась гибельной для интеллигенции. Разгром революционной армии Столыпиным вызвал в ее рядах глубокую деморализацию. Она была уже не та, что в 80-е годы: не пройдя аскетической школы, новое поколение переживало революцию не жертвенно, а стихийно. Оно отдавалось священной безумию, в котором испепелило себя. Дионисизм вырождался в эротическое помешательство. Крушение революции утопило тысячи революционеров в разврате. От Базарова к Санину вел тонкий мост, по которому прошло почти все новое поколение марксистов. Лучшие впитывались творящейся русской культурой, слабые опускались, чтобы всплыть вместе с накипью русского дна в октябре 1917 г.

Я сказал, что интеллигенцию разлагала ее удача. После 17 октября 1905 г. перед ней уже не стояло мрачной твердыни самодержавия. Старый режим треснул, но вместе с ним и интегральная идея освобождения. За что бороться: за ответственное министерство? за всеобщее избирательное право? За эти вещи не умирают. Государственная Дума пародировала парламентаризм и отбивала, морально и эстетически, вкус к политике. И царская и оппозиционная Россия тонула в грязи коррупции и пошлости. Это была смерть политического идеализма.

И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала интеллигенцию в рациональное и европейское, и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое главное, быть может: лучшие силы интеллигентского общества были впитаны православ-

ным возрождением, которое подготовлялось и в школе эстетического символизма, и в школе революционной жертвенности.

За восемь лет, протекавших между 1906 г. и 1914 г., интеллигенция растаяла почти бесследно. Ее кумиры, ее журналы были отодвинуты в самый задний угол литературы и отданы на всеобщее посмешище. Сама она, не имея сил на отлучение, на ритуальную чистоту, раскрывает свои двери для всякого, кто снисходительно соглашается сесть за один стол с ней временным гостем. В ее рядах уж преобладают старики. Молодежь схлынула, вербующая сила ее идей ничтожна.

И, однако, изжито ли старое противоположение: «интеллигенция и народ»? Изменяя революции, интеллигенция забыла о народе. Что там?

Из столыпинской деревни доносится голос хулигана, но она уже шлет в город своих поэтов. В ней совершаются какие-то сдвиги, с которыми былая интеллигенция уже утратила связь. Тогда-то раздался голос часового на башне: Блок поднял брошенную тему: «интеллигенция и народ», и указал на пропасть, все еще зияющую. Пророчил гибель и тогда уже звал: «Слушайте революцию!» А из низов, из темной черносотенной глубины ему отзывался нутряной злобой крестьянский голос: Карпов, «Пламя».

Война заглушила все голоса. В ней остатки интеллигенции утонули, принеся себя в жертву России, и в этой жертве утопили остатки революционной совести.